

Наиль Измайлов

# Убыр



Санкт-Петербург  
2012

в башке отматывалось: «Странный акцент, *oq jilan* вместо *uq elan*, это не акцент, а старый язык, а что, похоже — она же как стрела кидается, ё-мое, сдурела совсем, как я ей гадюку притащу?!» Я остановился и спросил:

— Зачем?

Бабка почему-то усмехнулась и сказала:

— Яд нужен.

— Кому?

— Тебе.

— Да?

Бабка усмехнулась, и я поверил, что мне нужен яд. Крайне. Никогда бы не подумал. Блин, куда я вляпался.

— Где я ее найду? — уныло спросил я.

— Ты знаешь.

«Откуда, блин?» — хотел сказать я, но это было бы неправдой. Я, может, не знал, но проволочная сетка, легко водившая мои руки-ноги-голову куда надо, знала. И готова была вести.

— Укусит ведь, — сказал я совсем уныло.

Бабка пожала плечами, вперевалочку ушла в дальний конец огорода, закрытый нерастаявшей еще грязной наледью, и забурилась там. Я подумал: «Ну и фиг с тобой» — и пошел, куда тащила сетка.

Экспедиция отняла меньше времени, чем беседа с бабкой.

Я вышел за ворота. Мельком удивился резкой смене погоды: строения во дворе древние, черные и отчаянно гнилые на вид, но между ними тепло, уютно, солнышко светит и пахнет свежо, а шаг наружу сделал — тут же мрак, дубак и сырость. Обогнул пару деревьев. Присел перед спутанным кустом. Пригляделся. По-гусиному проковылял несколько шагов, потрогал бурый дерн у корней и сунул пальцы в незаметную почти щель. Там был шершавый холод, а чуть глубже — холод гладкий. Я легко повел пальцами, нашел плоскую твердую голову, надежно прицемил ее и быстрым движением выдернул гадюку наружу.

Она была легкая и плотная, как плетка. На стрелу совсем не похожа, на гадюку тоже — серая какая-то, пыльная и вялая. Я осторожно приблизил ее к лицу и сжал пальцы посильнее. Не, зубы не ужиные, как сапожные иглы. Дохлая, может? Ладно, наше дело маленькое — змею добыть, а про живую никто не говорил.

Во дворе опять было тепло и свежо. Кот сидел на заборе, опасливо оглядываясь на избу. Удрал все-таки. Бабка у крыльца оттирала пальцы каким-то лопухом. Надо будет ей полотенце подарить.

— Вот, — сказал я и протянул змею.

Бабка кивнула, перехватила её голову снизу, а другой рукой сдвинула мои пальцы чуть дальше от незаметных змеиних глазок и объяснила:

— Так сломаешь, если дальше будешь держать — укусит. Вот здесь, запомнил?

Я кивнул, подавив вздох. Вот всю жизнь теперь змеиным сбором заниматься буду, поэтому мне очень надо запоминать такие тонкости.

Бабка небрежно, кольцом ухватила гадину — ну, будем считать, за горло — и показала мне, чтобы отпускал. Я разжал пальцы и вздрогнул. Гадюку будто насосом качнули: хвост больно хлестнул меня по руке, а пасть дернулась почти до бабкиного лица. Бабка сделала рукой, как танцорша, — увела за ухо и крутнула. Тело змеи быстро повыгибалось, будто наматываясь на колесико, и обвисло. Бабка, не глядя, сунула ее в карман кофты, бросила:

— Яйцо кукушки.

И ушла в дом.

— И чё? — спросил я по-русски.

Фиг ей, а не полотенце.

Плюнул и пошел в лес, бормоча про яйца и бабок.

И опять недалеко ушел. Прополз сквозь ельник. Потоптался среди голых стволов, внимательно глядя под ноги. Несколько раз присел, перебирая листву. Перебежал к другой группе деревьев. Нащупал и рассмотрел

коричневые чешуйки. Задрал голову, разглядывая далекие спутанные ветки. Пару раз пнул ствол — и полез наверх. Вот честно — я совершенно не представлял, чего делаю. При этом дико сомневался во всем: в том, что умею лазить по сырым деревьям и, что существеннее, слезать с них. В том, что здесь водятся кукушки. В том, что они уже вернулись с юга, — если, конечно, это перелетные птицы. В том, что успели снести и распахать по чужим гнездам яйца. Ну и в том, что я в любом случае сумею найти гнездо с яйцами и отличить кукушкино от прочих.

Отличать ничего не пришлось. Я, пыхтя, распялился между двумя толстыми ветками, осторожно дотянулся до неровного клока прутьев, смахивающего на раздавленную грузовиком корзину, раздвинул зернистый снег, немедленно стекший мне в рукав, а потом за шиворот, и подцепил пальцами мягкую округлость. Единственную. Сунул ее в карман и полез вниз.

Ну, в общем, спустился. Даже шапку не обронил, хотя старался. Руку только стесал слегка. И долго еще отдыхивался враскорячку, ждал, пока ноги отойдут. Вытащил из кармана яйцо — и чуть не выронил.

Оно больше смахивало на поддутую шляпку поганки-дымовушки: кривое, серое в черную крапинку, все будто плесенью покрыто и такое мягкое, что пальцами продавливалось. Нет, все-таки яйцо, очень старое, сгнившее. Кукушка гнездом промахнулась: или в пустое снеслась, или хозяева предпочли быстренько смотаться. Так не бывает, конечно, понял я, но вдумываться не стал, а поспешил домой. Бабка сказала, что надо торопиться.

Стоп. Когда сказала? Я постоял, вспоминая, потер лоб левой рукой — правую, с яйцом, держал на отлете, чтобы не помять и не выронить. Ничего не вспоминалось. Но говорила же когда-то: времени у тебя до вечера, торопись. И даже объясняла почему. И я убедился и поверил. Во что, блин?

Дежавю это называется. Или ложная память.

Ложная не ложная, но торопиться по правде надо. Тем более холодно.

И я побежал.

Во двор влетел слегка запыхавшись — не от бега, бежать-то тут три минуты, а от поклонов. Ну и от испуга: на самом финише поскользнулся и чуть яйцо коленом не накрыл. Вот вони было бы.

Зря торопился, по ходу. Я думал, бабка притоптывает от нетерпения и тут же бросится обниматься и яичницу ставить. Брр, не надо. Но бабки все равно не было. Я обошел дом, чтобы вломиться в сарай со сдержанным скандалом. Дилька помахала мне в окно из-за вороха больших тряпок. Заулыбалась вполголовы и тут же скрылась.

Припахала ее бабка по уборке, видать. А я думал, кота гоняет. Ничего, пусть поработает, а то дома раз в месяц посуду помоеет — и привет. Зато она постель за собой заправляет, а я не всегда успеваю, самокритично подумал я, расстроился и пошел орать на бабку.

Ага, орать.

— Чего так долго? — спросила она, поднимаясь с грядки.

Прямо тут, оказывается, сидела, пока я с Дилькой перемахивался. А я не заметил. Следопыт, да.

— А чего? — нагло осведомился я.

— Следующего неси, — сказала она, аккуратно принимая у меня яйцо.

Я машинально понюхал руку — не пахла, к счастью, — и спросил с досадой:

— Кто следующий-то?

— Кто следующий-то? — повторила бабка ровно с той же интонацией — и, кажется, даже моим голосом.

А я, вместо того чтобы ее передразнить, выпалил:

— Заяц?

И сам испугался.

Бабка погладила меня по локтю, выдрала что-то из куртки и подтвердила.

— Да как я... — начал я запальчиво, но бабка перебила:

— В сарае.

Некогда ей, понимаете. Она, понимаете, уже колючки разглядывает, которые у меня из рукава выдрала.

Хотел я ей сказать уже чего-нибудь, но она быстро подняла голову, блеснув из морщин-морщин-морщин, и сказала:

— Молодец. Мужчина.

— С яйцом, — буркнул я, стараясь не поддаваться.

— С чертовой палкой, — возразила она.

Что за пошлые намеки, подумал я и решил начать уже дебош, да вот пригляделся зачем-то. В руке у бабки шарики репейника были. А «репейник» по-татарски как раз «чертова палка».

Вот устроила мне практику по родному языку. С ней разговаривать — только мозг квасить, решил я и пошел в сарай. Знать бы еще зачем.

Знать оказалось не обязательно. Проволочный каркас сам все знает. Завел, пустил вдоль стен, в паре мест заставил постоять, хлопая глазами, — там же сумрак, не видно ни фига, корзины, кувшины да веревки какие-то. Велел строить неустойчивую башню из коробок и клетей, лезть на нее, екая сердцем, и расшибать затылок о незаметную балку. Чтобы сорвать с самого дальнего крючка спутанные ременные петли. Я сам на них чуть не повис буратиной. Но каркас меня удержал, помог ремни достать, сползти, расправить конструкцию на руке — и повел в лес, как барана-одиночку. Еще старую морковку из корзины заставил в карман сунуть. Ну-ну. Посмотрим, чего дальше будет.

Дальше был вообще мультик какой-то. В мультиках удочкой махнул — рыбка взвилась, стрелу пустил — утка грохнулась. Я думал, за зайцем гоняться придется, дубину выламывать или там лук со стрелами. Не-а. Достаточно немного посидеть не шевелясь и вовремя дернуть рукой. Ну и сперва, конечно, разостлать ремни эти

в самом дурацком месте между кустами, к которому я подбирался самым дебильным и неудобным способом.

Не зря подбирался. Минут через десять в дальних кустах зашуршало. Ближе, ближе. Ощутимо стукнуло в землю за самым стволом, в который я упирался спиной, чуть отведя руку с намотанным ремнем. Я совсем затаил дыхание, не услышал, а угадал коротенький хруст оставленной в силках моркови — да, силки это называется! — и дернул.

Сложнее было его правильно ухватить и не подставиться под удар — заяц удивительно здоровый был, жилистый и ободранный какой-то, прямо боевой кот. И ногами бил, будто конь. А на ногах когти такие, что полкило мяса он с моей ноги снял бы — если бы попал. Но я уберегся. Успею еще мясом набросаться.

Донес я пегую тварь без приключений, хоть пару раз казалось, что он таки вывернется и взлетит мне на плечо, а оттуда — в космос.

Дилька, лупившая веником по разостланному во дворе матрасу, конечно, заверещала:

— Ой, зайчик!

Бабка ее прогнала, внимательно рассмотрела отчаянно дергающегося зайца, кивнула и коротко провела ладошкой ему от глаз до носа. Он обвис, держать стало проще. Бабка перехватила тощие уши и взяла зайца на руку, как ребенка. Я похолодел, ожидая, что вот сейчас он ей челюсть и снесет. Но заяц только передними лапами подергал, совсем как в мультике его барабанная рисованная родня.

За лосем еще сейчас пошлет, мрачно подумал я. Не угадал.

— Бобр и рыба, — коротко сказала бабка и ушла в дом.

И теперь я сидел совсем неподвижный, замерзший и весь мокрый от водяной пыли, сжимал в руках снятую куртку и следил за солнцем, которое пыталось уцепить сосновые верхушки, но безнадежно соскальзывало с тонких подпорок вниз, в еловую пропасть. А на плотинку,

больше похожую на неграмотно сложенный костер, не смотрел.

И конечно, все случилось одновременно. Солнце окунулось в черный забор, махнув слепящей шапочкой. Я понял, что не чувствую никаких пальцев. А из-под плотинки вынырнул мокрый нос и удивительно быстро понесся ко мне. Я подавил желание рвануть навстречу, чтобы быстрее уже. Правильно сделал. На полпути нос исчез, из воды промельком блеснуло что-то похожее на здоровенный язык, вода взбурлила и тут же опала. И прямо к моим ногам, встряхивая зажатую в пасти темную рыбину, выполз бобр. Я дождался, пока язык — хвост на самом деле, гадостный вообще — покинет воду. Мягко шагнул, отрезая зверя от воды, и накинул куртку ему на голову.

Нести его было проще, чем зайца, потому что я зубы бобра не успел рассмотреть. Когда бабке вручал, увидел, что это натурально две стамески. И запоздало испугался, благодушно так. Ведь все позади. И даже за рыбой идти не надо — она так и осталась в пасти бобра, когда я его укутывал. Иногда и мне везет.

Ну, это везение я, конечно, отработал. Бабка, едва позволив согреться, погнала ломать ветки черемухи. Да не любой, а плодоносной пятилетней. Да не любые, а которые буквой «У». Это называется «зато согрелся».

Я согрелся, почти не изодрал руки и два раза успел удержаться на последней толстой ветке. Так что охапку веток донес до дому в почти живом состоянии. Уже радость, кто спорит.

И вот с этой радости бабка послала меня на кладбище.

### 3

*Ölümüg umtma, gürüñ yurtuñ ol.*

Это мне сказала бабка, когда я сообщил, чего думаю про кладбище вообще и особенно про идею идти туда



ночью. «Не забывай о смерти, твоя могила — твое пристанище», — сообщила она тоном нашей русистки Альфии Хайдаровны, которая вот точно так Фета какого-нибудь цитирует.

Могила была не моя — тут бабка подзагнула. Но и ночью надо было не идти на кладбище, а бежать с него. В принципе, должен успеть: солнце все еще лежало в развилке здоровенной кривой березы где-то на уровне моей груди.

Я еще раз обошел могилу Марат-абыя, стараясь не наступать на сырую глину и не поворачиваться спиной к проваленной щели у изголовья. Татары хоронят помусульмански, без гробов, и покойника кладут не на дно могилы, а в нишу, выдолбленную в стенке. Ее закрывают досками — и засыпают, получается, не родного человека, а пустую яму.

Я пробормотал: «Прости, Марат-абый» — и присел справа от холмика, над дядькиной грудью. Вытащил из карманов свертки и склянки, разложил их в нужном порядке и потрогал пальцами дерн. Жесткий, но поддается. Справимся.

Возле щели шевельнулось. Я застыл, выдохнул и обнаружил, что рука уже под курткой. Нож ищет. А чего его искать, если он в столбе остался. Да и не спасет нож. Да и спасти пока не от чего: вдоль щели просто здоровенный черный жук прополз, осыпая землю.

Я отдышался и сел поудобнее, поглядывая на березу и щель. Жук утащил шевеленье за собой. Солнце стрельнуло пучком лучей и ушло за грязно-белый ствол.

Пора.

Дерн снялся легко, но слишком большим квадратом. Пришлось рвать и выкладывать мелкие куски, отряхивать пальцы от мерзлой глины с песком, а то выскользнет все. Не дергаемся, времени еще вагон.

Я развернул первый сверток и высыпал теплую золу из берестяной коробочки в промятую ямку. Втер золу в землю, развернул гладкую бумажку и выложил по одно-

му три зернышка — так, как бабка велела, треугольником: слева белесое прозрачное, справа черное костяное, а мягкое желтенькое — в вершину, устремленную к падающему солнцу.

Дальше начиналась самая морока, не перепутать бы. Песок из свертка.

Так.

Теперь вода. Ох, вонючая какая, где она ее набрала, вокруг ручьев же полно.

Глина.

Рыбья кровь — елки, какая это кровь, у меня плевков жиже — и весомее, кстати.

Сухой ил.

Теперь сразу, одним движением и не дыша, — отвар бобровой струи и заячьей желчи под кукушкин омлет. Меня сейчас вырвет, скорее. Чернозем, сосновая живица, березовый сок, хвоя, листок, разглаживаем, дерн, вода, все.

Ох.

Я поспешно укутал склянки и коробочки обратно в тряпицы, одну оставил, оттер ею руки и сунул поглубже в свертки. Без мазы, мыть надо. Главное — не нюхать.

Ну и не думать, конечно, чем занимаюсь.

Когда бабка объясняла мне, чего надо делать, самым тяжелым было не запомнить все в правильной последовательности, а удержаться от громкого гогота. Ну бред ведь полный. Сажаем растение, поливаем животным, получаем чудо из чудес — и всех побеждаем. И все, понимаешь, по секундам, фэн-шую и лунному календарю. И не повредив ни единого животного, включая рыбу, — одному яйцу не повезло. Хотя как можно выдавить из зайца желчь, не повредив при этом животное, я не представляю. Зачем это нужно — тем более.

Я про подобное слышал в идиотских телепередачах. Еще однажды посмотрел газетку, которую соседка по даче маме притащила, когда у той поясницу скрючило. Мамке-то ни газета, ни рецепты из нее не помогли, зато поясница чуть живьем не сгорела.

А тут я сам должен чудо-фермера изображать. Дополнительный прикол в том, как все вовремя у бабки срастается. Именно сегодня надо эти цветочки сажать и именно завтра-послезавтра убывра ими уконтрапупливать.

Ну не бред ли.

Ну бред, допустим.

У меня что, выбор есть?

Поверил бабке — так терпи. Надейся, что ее рецепт сработает. И верь, что семечко может дать цветок за пятнадцать минут — или сколько там миновало?

Не может, конечно.

До заката досижу по-честному, потом-то бабка сама велела чесать со всех ног.

Причешу и потребую план «Б».

Ой, б.

Дерн передо мной зашевелился. Я дернулся, потому что как раз косился на щель в могиле. Но там было спокойно. Это клочки изорванного мной корневого и травяного войлока будто дышали. Толчками. И старые травинки на одном из стыков, кажется, приподнимались и тянулись вверх. В сумраке плохо было видно.

Я упал на ладони и ткнулся в место посадки чуть ли не носом, но так оказалось совсем темно, точно я против солнца стоял и тень кидал. Было как раз наоборот, но разбираться времени не оставалось. Я сел обратно и уставился вниз и чуть в сторону — так, чтобы шевеление застряло в самом крае глаза. Получилось не то чтобы светлее, но заметнее — хоть и страшно неразборчиво. В смысле, я понял, что это не старые, а новые, яркие даже в полутьме стебельки поднимаются. Сразу несколько. Скручиваясь и выталкиваясь вверх, как пятиклассники подтягиваются. И на этом верху, на кончиках стеблей, что-то начинает толстеть и распускаться.

Мучительно хотелось посмотреть в упор. По телику часто показывают во всяких ботанических передачах, как растения быстро-быстро вымахивают и распускают-

ся алым бутоном, — ну, снимают специально, по кадру в час. А здесь-то на самом деле чудеса творились. Не под носом, допустим, но под ухом. А разглядеть не получалось. Попробуй глянь в упор — тьма, серьезная такая, основательная, совсем закрыла бы все вокруг до той березы, а может, и до горизонта, которого уже коснулось солнце. Я разок дернул глазом, оценил тень и тишь перед коленями — и все понял. И продолжал держать зрачок подальше от шевеления, типа оно училка, а я до машку не сделал. Тем более что бабка так и велела — за солнцем смотреть.

Оно уже красным желтком растеклось по горизонту, подальше от бледной луны. Не успею, панически подумал я и тут же осадил: что значит «не успею»? Все от меня зависит. Сколько там до полного ухода? Три минуты, пять? Сейчас прикину, секунд за двадцать возьмусь, чтобы запас был, — и нормально.

Осталось минут семь, и все равно я чуть не опоздал. То есть поднялся на ноги и принял бейсбольную позу сильно загодя, не обращая внимания на примотанные к спине сучки, которые тут же воткнулись в кожу. Ориентируясь все тем же краем глаза, вытянул руки, одну повыше, другую пониже, — и чуть не заорал.левой ладони будто летучая мышь коснулась, легкая и прохладная. Стиснув зубы, вернул руку на место и осторожно ощупал цветок — большой, распыленный, как лилия какая-нибудь, и с сочным лохматым стерженьком, нагло выпирающим из бутона. Интересно, какого цвета? Такие бутоны, только пластмассовые, у нас в детском кафе стоят, а не вырастают за десять минут из мерзлого суглинка в живом виде. Не зря говорят, что на кладбище все живое особенно радостно прет во все стороны.

Ай.

Холмик шевельнулся, подтверждая. Не попер, к счастью, — но у щели зашуршало и посыпалось. Я отвел глаза к прежней точке между солнцем и луной, но успел заметить, что щель вроде стала пошире.

От солнца осталась багровая тюбетейка.

Братила, десять, подумал я. Девять.

Шуршание, кажется, усилилось.

Восемь.

От тюбетейки уползли в стороны неприятно рыжие усы, да тут же и растаяли.

Семь.

Я подвел ладонь поближе к цветку. Рука ткнулась в холодный стебель — вернее, несколько жестких стеблей, сплетенных наподобие веревки.

Шесть.

Все растет, собака, вот он, уже на кулак вверх подскочил. Я нежно обхватил бутон пальцами, чтобы оторвать стебель у самых лепестков. Под ногами заурчало.

Пять.

Я так зубы себе выдавлю. Правую руку на место, к земле. Не бойся, бабка сказала, пока солнце, ничего не будет.

Четыре.

Не урчание это, а скрежет — уже громче. Стебли у земли хватаем, елки, во сплелись-то, канат почти.

Еще громче. Доски друг о друга трутся, вот это что.

Три.

Я покрепче уперся ногами. Доски землей придавлены, пока отодвинутся, потом вверх еще метра полтора. Нормально.

Два.

Взялись.

Один.

Солнце исчезло, как вода в раковине, — хлопка не хватало. Я бережно снял бутон с венчика и одновременно сильно дернул сплетенные стебли, запоздало ужаснувшись тому, что корень не выдернется и я останусь в полной тьме на кладбище, где все так прет. Или, наоборот, выдернется — и с чем-то присосавшимся.

Но корень вынулся удивительно легко, как свечка из торта, — длинный, толстый и весь в отростках.

Бежать.

Нет, убрать сперва.

Сломать, корень в правый карман, цветки в левый, не перепутай, пробормотал я и успокоил себя и мир:

— Не бойсь, не перепутаю.

Но чуть не перепутал — рука с корешком сама потянулась влево, под руку с цветком, задравшую полу куртки. Мир, кажется, ахнул, но я уже продавил дурацкую силу, поменявшую мои руки местами. И уложил бутон в коробочку, впихнутую в левый карман, а корень — в тряпку, раздувшую правый.

Мир снова ахнул — или это не мир был, а холмик слева? Не смотрю, поворачиваюсь боком, два шага вот так, крабой, — развернулся — бежать.

Сейчас а-а-а-а — и на плечи бросится, понял я, и дыхание оборвалось. Я с усилием вдохнул, наддал, стараясь высмотреть корни с ямами под ногами и придерживая шапку на распушей от натуги голове. Глупое это занятие — по ночному лесу быстро бегать.

Не случилось ни «а-а-а-а», ни ловушек. Я промахнул заброшенную дорогу, которую мы с Дилькой миновали вчера, поймал нормальное дыхание, не потерял его — и на поляну со столбом выскочил уже готовым без истерики отдышаться и оглядеться.

Полная луна сияла почти как солнце, заливая все вокруг неровными серебристо-черными полосами. Было видно, что никто за мной не гонится, что поляна пуста, что столб с белесой нашлапкой сверху стоит нетронутый и ручка ножа торчит там, где оставили. Я еще постоял, прислушиваясь. Ни ветра, ни дождя, ни шума погони. Дневные звери попрятались, ночные не проснулись, до электрички еще полчаса, а ходу до станции, бабка сказала, пятнадцать минут. И чего ж это мы с Дилькой не дошли, спрашивается. И еще спрашивается, чего ж это я Дильку чужой бабке оставил, а сам экстремальным цветоводством занимаюсь.

Это еще что. Сейчас вот пойду с амулетами беседовать.

Я подошел к столбу и рассмотрел воткнутый на уровне глаз нож. Он был чист со стороны, с которой я пришел, — значит, с Дилькой все в порядке. И с другой стороны металл сиял чистым серебром, — значит, и со мной все в порядке. Если, конечно, бабка не зря заставляла нас с Дилькой минуту держать лезвие между ладонями, моей и ее.

Если зря — то все вообще зря. И зря я бегал сегодня весь день по лесу, таскал животных, землю рыл и пугал всех подряд, начиная с себя. Разве что шоколадку Дильке не зря оставил. Ей нужнее. Она маленькая.

Я тронул лезвие пальцем.

Нет, оно не влило в меня новые силы, не рассеяло сомнений или там не превратило окончательно в дебила, который в сказки верит и всех верить заставляет. Просто стало как-то серебристо-ясно. Замахнулся — бей. Взятся — ходи. Вошел — иди до выхода. Он один, другого нет все равно. Некуда соскакивать. А сказочная надежда лучше, чем никакой.

Я натянул поглубже шапку и побежал.

#### 4

Я всю жизнь прожил в городе.

Я всю жизнь учился только тому, что необходимо городскому пацану, и умел только это.

Выбирать между лифтом и лестницей. Переходить дорогу на зеленый свет или если машины еще далеко. По выходным не переходить дорогу даже на зеленый, пока не убедишься, что машин кругом нет. Обходить трамвай спереди, а цепляться сзади. Не забывать сдачу и не показывать, сколько у меня денег. Отличать места, по которым можно ходить вечером, от тех, куда соваться

Молодой медведь потому, что ему три года было, когда на рогадины налетел. И старый медведь — потому, что взяли его очень давно, так что кость смахивала на окаменевшее изветренное дерево, серое и расслоенное на волокна.

И столб, на котором сидел череп, был такой же старый — черный, истрескавшийся и снизу неровно измазанный чем-то.

Мой нож торчал как раз на границе этой измазанности.

Боязно было его рассматривать, а что делать.

С одной стороны лезвие было тускло-чистым, только у лезвия пара крупинок сидела, то ли ржавчины, то ли земли. Они слетели от дыхания, когда я попытался взглянуть. Я, закусив губу, перешагнул к другой стороне.

Она не была ржавой, кровавой или черной.

Мутно-белой она была и лоснящейся, словно сало резала.

Я хотел проверить, а как на ощупь, но больно уж страшными были ногти. Как мог вытер руки, но и после этого трогать лезвие не стал.

Смысл-то.

Сам увижу.

Выдернул нож из столба, втиснул его в слипшиеся ножны и пошел за сестрой.

### 3

С чего я взял, что в лесу страшно?

В лесу бывает холодно, бывает душно, бывает уютно, бывает безнадежно — это если силы кончаются, а враги — нет. Бояться тут нечего.

Смерти бояться поздно. Медведи отсюда сбежали после прошлогодних пожаров, волки — на прошлой неделе. Мелкие хищники сами всего боятся. Ямы, ловушки



и трясины я чують научился, мелкую нечисть тоже. Вчера я многое знал, мало что понимал и ни фи́га не умел. Теперь многое понял. Жив буду — научусь.

Особого смысла бежать не было. Полдня прошло. Убыр знал, куда идти, и мог пройти куда угодно — бабка бы его впустила, не зря же она убырлы. А я вот верил ей зря. И зря делал все, что она говорила. Правда, поначалу помогало. Но, может, это как раз чтобы в доверие войти. Вошла, да. И до сих пор не вышла почему-то. Наверное, потому, что мне очень хотелось верить. Не бабке — вообще кому-то. Во что-то.

Я верил — как мог. И бежал — как мог.

Я не боялся леса. Я даже не очень боялся того, что увижу там, где оставил Дильку. Хотя был готов к чему угодно.

К тому, что на месте избы воняет пепелище с черной печкой посредине.

К тому, что дом и баня стоят все перекошенные и с сорванными дверьми, а внутри следы борьбы и пятна крови. Эта картинка сильнее других лезла к глазам. Я ее выбрасывал, а она возвращалась.

Больше всего я был готов к тому, что изба раскурочена, а баня выглядит как крепость после осады, окна побиты и крыша набок, но дверь не сорвана, и за ней стоят бабка с Дилькой с кочергами наперевес — нет, с метлами: карчык же знает, что железо тут не работает. Я был так готов, что совсем уверился и почти успокоился. Начал придумывать, как уговорить открыть мне дверь, голоса-то так и не было. Даже изобрел специальные сигналы, которые Дильку убедят. И тут понял, что уже выскочил к дальней стороне бабкиной ограды, откуда хотел осмотреться, — и погнал посторонние мысли из головы. А остальные мысли сами вылились.

Дом был целехонький, окна прикрыты и занавешены, зато дверь, кажется, отворена.

Я отдыхался и осматривался минуты две, беззвучно меняя точки обзора. Не выдержал и вошел в ворота.

Фигли индейца изображать — не было вокруг никого умеющего двигаться или дышать, даже птицы снялись, все. Только кот подглядывал с крыши и сердито зашипел, поняв, что замечен. Спускаться он явно не собирался.

Во дворе теперь было как в лесу, не лучше и не хуже.

По уму, следовало первым делом осмотреться в бане, но изба манила. Дверь в самом деле была приоткрыта. В петле торчал нож. Тонкий, черный, которым бабка травку резала.

У меня внутри как будто полочка сломалась, и все, что на ней было, рухнуло в живот и кроссовки. Горлу стало больно — видимо, от сипа. Я слепо, чуть не сломав пальцы, выдернул нож из петли, вытащил свой клинок и побежал в избу. Совсем забыв умные рассуждения про то, что железо не работает.

На полатах поблескивали Дилькины очки. Я устался на них и почти улетел куда-то. Протянул грязную руку, сообразил, что она грязная, а очки чистенькие, отдернул, помотал головой и огляделся.

Никого здесь не было. Ни в сенях, ни в комнате. Ни под полатами, ни на печке, ни в печке. Было чисто, аккуратно, полати прибраны, лежанка на печке красиво заправлена, даже посуда помыта.

Запах стоял непривычный — не домашний какой-то. Пахло сырой ржавчиной и золой, как от залитого мангала. Но в печи или где-то еще следов золы не было. И, кроме очков, следов Дильки не было. И бабкиных тоже — даже одежды никакой. Я все обшарил. Вряд ли у нее огромный гардероб, но все равно: ни один человек, кроме бомжа какого-нибудь, не может легко утащить всю свою одежду.

Блин, да где ж они, растерянно подумал я и вспомнил наконец про тайные комнаты. Надо ж было забыть про такое.

Я чуть не споткнулся о ведро, стоявшее сразу за дверью в камору с умывальником, еле нашел вход в зальчик

с пыточным сиденьем, обежал их. Там тоже нашлись лишь порядок и пустота.

Баня, вспомнил я и побежал, снова едва не кувыркнувшись через ведро — прямо на ножи. Кухонный я бросил на полати, а свой убирать не стал — мало ли что.

Мысль про баню оказалась верной, но запоздалой. Там сильно пахло свечкой, было очень тепло и вода в странных ведрах осталась почти горячей, зато воск на полу и полках совсем застыл. Я сперва не разобрал, что это, — в банях без электричества даже днем темно, знаете ли, — поэтому дикость какую-то представил. Его очень много было, желтовато-белого воска, похожего на смесь парафина с пластилином. Я соскреб немного ножом и рассмотрел на свету. Бабка иллюминацию как в дореволюционном Большом театре устроила, что ли, на тыщу свечей. Таз вон весь воском залит.

А следов все равно нет.

Вернее, следов куча — но все странные.

И самый странный начинался в предбаннике под лавкой. От шоколадки. Она подтаяла, но не убавилась — как я отдал Дильке полплитки, так полплитки и осталось.

Даже откусить не успела. Или не хотела одна.

Я посидел на корточках, не трогая ни шоколад, ни следы вокруг него. Встал и бездумно пошел по следу. В дом — кот так и томился за трубой, — сквозь сени, в большую комнату, к печке. Тут след как наждачкой стерли. Огненной. Я потоптался по комнате и открыл дверь в помоечную. Там был по-прежнему сумрачный порядок, только ведро в дальнем углу отсвечивало темно-зеленой эмалью.

Сейчас выйду за ограду и буду мотать круги по нарастающей, пока след не найду.

Стоп.

Я же ведро не переставлял. Оно у порога стояло.

Я выставил перед собой нож, крутнулся по сторонам, с ужасом понимая, что опоздал. Обознатушки — пусто.

Хотя насчет опоздал фиг поспоришь. В любом случае с рассвета здесь никого, кроме меня, не было.

Я подумал, подошел к ведру и спросил:

— Где они?

Вернее, хотел спросить, да просипел непонятное. Я присел на корточки и требовательно стукнул костяшками в твердый бок.

Бок загудел. Ведро тускло отсвечивало даже сквозь мою тень. Отсвечивало и плохо пахло. Дно у него было измазано чем-то не видимым под пушистой черной плесенью.

Единственная нечистая вещь в доме.

Я стукнул два раза, сильно. Помойный запах усилился.

Почищу, решил я, заливаясь белой злобой, сунул нож в карман, схватил ведро за ручку и потащил наружу.

Ведро было очень легким до порога. Едва я его перешагнул, руку будто гиря оттянула, а на следующем шаге еще и задергала во все стороны — как Киров чокнутый ротвейлер, с которым я напросился погулять однажды. Он мной пол-улицы вспахал и чуть руку из сустава не выдернул. Только ротвейлер молча рвался, а бичура отчаянно верещала. Дергала рукой, упиралась мелкими ножками, пыталась укусить почти незаметными зубами и кричала. Как капризный или очень испуганный ребенок.

Она и была ребенок. Не карлик, наряженный в музейную одежду для сабантуя, а постаревший ребенок, тыщу лет проживший в детской, с которой научился управляться не хуже, чем с собственным телом. А за ее пределами из тела вываливался. А это страшно, и опереться вообще не на что, по себе знаю.

И она была очень испуганной.

И еще она не умела говорить — как всякая нечисть.

Бичура не плохая. Именно так: не-пробел-плохая. Она же не только буяннить умеет, она может здорово помогать хозяину, тащит богатство и везение в дом, посуду вон вылизывает. Крыски, допустим, тоже классные бывают. Но они все равно крыски.

У бабки бичура была классная. Но все равно нечисть.

Я ее, конечно, отпустил и не стал подходить, пока она, пометавшись по углам с механическим скрипом, не застыла в привычном месте, мелко трясясь и булькая. Совсем бичура успокоиться так и не смогла: время от времени мутнела и каким-то боком переливалась то в ведро, то в веник, то в страшную лохматую старушку — не вся, кусочками, я объяснить не могу.

Я хотел начать спрашивать — пусть, думаю, кивает, раз говорить не может. Снова забыл, что я тоже безгolosый. Как нечисть, блин.

Я стукнул кулаком в стену, подумал немного, подошел к бичуре, а когда она зашипела, присел на корточки и стал спрашивать знаками.

Она, оказывается, не дура была. И понимала что-то, и по-честному пыталась ответить. Но как тут ответишь, не умея ни говорить, ни кивать. Ни жесты человеческие делать. Бичура умеет верещать, кидаться по сторонам, забегать на стены и даже потолок и шипеть оттуда бешеным котом. А понять, что из этой акробатики «да», а что «нет», нелегко. Особенно если учесть, что я не актер мим-театра «Грация» при ДК химиков и сам не всегда понимаю, чего имею в виду, когда машу ладонью у плеча или хватаю пальцами правой руки левый кулак.

Но маленькую запуганную нечисть я понял. Все понял, кроме того, куда делась бабка. Бичура сначала не ответила, а когда я еще раз изобразил согнутую старуху, повалилась на пол ведром и загремела в соседний угол, оставляя за собой кривую черную струйку. Еле добудился ее, показал, что больше эту тему трогать не буду. Тем более что это не так и важно. С важным бы сладить.

Я посидел, повесив голову, попробовал изобразить вопрос другими жестами, еще и голову задрал, стукнув ребрами ладоней над носом. Ответ вроде был утвердительным.

И направление бичура правильное показала. А теперь застыла в расшитом чумазом сарафанчике, серая и сгорбленная, как оставленное под снегом чучелко.

Благодарить нечисть нельзя, поэтому я обвел рукой вокруг, стукнул в грудь и продемонстрировал большой палец то ли чучелку, то ли себе.

Типа все будет хорошо, обещаю.

Чудеса тоже надо обещать. Иногда это помогает.

По крайней мере, стимулирует.

Папа как-то объяснял, что стимулировать — значит бить стимулом, такой острой палкой для скота. В тему, в общем, подумал я на бегу.

В болоте без палки не обойтись.

#### 4

В прошлом году мы отдыхали в Шарм-эш-Шейхе. Ну, собственно, Зулька с Равилем с нашей подачи туда и помчались. Там очень красиво — риф, рыбы, отдельные кораллы и вот эта подсвеченность синего снизу. А, толку нет рассказывать. Если вы там были, и так знаете, а если не были, то не поймете. Это надо видеть — и трогать. Хотя трогать категорически запрещено.

Так вот, внутренность болот — она такая же. Единственное отличие — подсветка не синяя, а черно-зеленая. Все остальное очень похоже: болтающиеся по течению плети водорослей, смахивающие на мальков толстые пиявки, очень быстрые, оказывается, в гуще, яркие шарики не рыб, а болотных огней, на ниточке поднимающихся со дна в сопровождении мелких блестящих пузырьков, — и вообще пузырей кругом очень много.

Только их никто не видит. Может, потому, что не лазит в болота. А может, просто не успевает нырнуть, пока пузыри не лопнули.

Они лопаются всегда. С клетотом, толчками и страшной вонью.

Волна должна тебя вытаскивать на поверхность, но вместо этого почему-то, наоборот, по кругу вталкивает

глубже, глубже, в жирные вязкие подушки с отслаивающимися облаками черных хлопьев. И ты влипаешь в вязкий нижний слой топи, из которого и любишься этой красотой сквозь слой воска, охвативший открытые глаза будто контактная линза. А вязкая подушка всасывает ноги — и сразу затылок с лопатками, а жирная ледяная вода, обжимавшая тело, теперь уверенно всовывается в уши и нос.

Но страшно лишь сначала. Пока не поймешь, что ты здесь навсегда. Никто не спасет.

Любуйся.

Сколько сможешь.

Я добежал до болота по следу, как троллейбус по проводу. Оказывается, достаточно увидеть след один раз — потом уже не потеряешь и пойдешь по нему до нужных подошв. Это как с объемной картинкой: можно час пялиться на пальму, так и не разглядев, где спрятались попугаи. Но если однажды увидел, всё — дальше глаза сами в нужное положение встают.

Вдоль ограды я ходил минут пятнадцать, не больше. Кидался то на помятую ветку, то на скукоженный листок — и возвращался.

А затем увидел мягкую белую чешуйку. Понятно, сказки все читали. Обошел кругом — и на буром ковре иголок, шишек, мелких веток сложилась четкая картинка. Здесь шла бабка с Дилькой на руках. Быстро шла. С тяжелой, между прочим, Дилькой, я ее еле таскал. И долго шла. Мне на этот путь понадобилось минут двадцать — не считая двух пауз, когда я зачем-то пытался понять, как бабка миновала завал из трех корявых стволов и залитую талой водой ложбинку. По кругу она не обходила. След исчезал за полметра до препятствия и появлялся через полметра после него. Стволы я обошел несколько раз и решил разбираться с загадкой на ходу. А пялиться на запруду я перестал, когда сообразил: как бы бабка водную преграду ни преодолела, мне это точно не пригодится. Летать, ходить по воде и что она там еще могла сделать, я точно не обучусь.

Белых чешуек по пути больше не попало, но я и без них понял, что особых вариантов нет: здесь, если идти к закату, как ни выкручивайся, все равно в болото упруешься.

Бабка уперлась и пропала. Я уперся и застыл. Место было невыразительным. Ну вот возникает запах, потом вонь, потом густой лес пересекается узкой длинной поляной, а потом начинается опять в сильно прополотом виде, и теперь голых деревьев больше, чем елок с соснами. Все, это болото. Вместо земли сырые зыбкие кочки с лужицами вокруг.

Это не лужицы, а колодцы с сосущим эффектом. И почти без дна.

След доходил до толстой серо-черной березы с полопанным стволом и исчезал. Совсем исчезал. В трех шагах от березы блестела крупная лужа с мохнатыми краями. За один из краев зацепилась белая чешуйка.

Сверху ее не было видно. Я пытался определить глубину лужицы, но прут гнулся, а палка сломалась. Вот я и сел, чтобы пробить двойным обломком мягкую преграду. Сел, увидел этот комочек и чуть в топь не улетел: пытался после размаха уже увести удар от воды, потому что с ужасом представил, что мягкая преграда может быть и не мхом, торфом или что там в болотах обычно бывает. Палки с чмоканьем воткнулись в рыхлый край лужи, я, вцепившись в них, не свалился в воду. Перевел дух и протянул дрожащую руку к чешуйке.

Это воск, конечно, был, опять не белый, а чуть желтоватый. И висел он на мохнатом клоке берега, нависшем над водой. То есть он не сверху упал, его снизу прилепили — специально или нечаянно, но когда именно с этой лужицей возились.

Я встал и осмотрелся. Лужиц кругом было много, блестели почти все, но у этой блеск был слишком праздничный — точно автобус в дождь вдоль светящейся рекламы катится. Я снял куртку, засучил рукав, подполз к самому краю и, заранее коченея, сунул руку в воду.

Вода была ледяной.



Я стиснул зубы и постарался нащупать мягкое препятствие. Его не было, не было, и раз — пальцы будто в голову крупной куклы уперлись. Я чуть не вскочил, совсем заскрипел зубами и вернул пальцы кукле.

Это не кукла была, не голова и не волосы. Длинные водоросли на каком-то мягком выступе. Я еще некоторое время ощупывал его контуры, уже не вздрагивая, как от голых проводов, наконец извлек черную, неровно блестящую руку и встал.

Главное было не думать.

Я стряхнул жижу и ряску с руки, быстро разулся и разделся до джинсов и встал на край лужицы, стараясь не ежиться и не оглядываться на одежду. Жалко будет опять без телефона и ножа остаться. Без одежды, впрочем, тоже.

Ванька Щербаков из «А»-класса — морж. Ну как морж — второй год на Крещение с родителями в прорубь сигаает. Говорит, первый раз страшно было, но на самом деле ништяк — даже жарко. Вот после главное быстро выскочить и закутаться — это да.

Про жарко я и сам знал. В прорубь, конечно, не кидался ни разу — но под Казанью есть такое Голубое озеро, к нему ведет узкая глубокая протока, где круглый год плюс четыре и куда может сигануть любой желающий. Я не был желающим, но прошлым летом сиганул вслед за папаней. Теперь я считал себя маленько подготовленным. Но понимал, вернее, не понимал, а знал — не головой, а вот этой штукой, которую во мне бабка разбудила, — что болото не протока, не прорубь и не бассейн под трамплином.

Это прорва.

Прорвусь.

Надо было помолиться или сказать что-то важное. Я постеснялся. Сказал: «Щас». Чтобы никто не думал, что я тупо проветриваюсь тут.

Подышал, прокачивая легкие, как папа учил, набрал побольше воздуха, зажмурился и прыгнул солдатиком в мягкую щель и сияющие холодные блики.

Блики жарко порвали и раздернули на пол-леса все тело — и тут же закатали в снеговик, холодно и тесно. На веки давила тьма, на все остальное тоже давила, особенно на живот и грудь, выжимая воздух, как лекарство из шприца. Но я держал воздух и позу. Не шевелил ногами, от которых вверх поднимался не мороз даже, а толстый иней, прямо по костям. Не дергался от скользких прикосновений. Продавливался куда-то — кажется, вниз и, кажется, в нужную щель. И считал. В Шарме я держался полторы минуты — но там даже на глубине давление было поменьше. И дубака такого не было.

Не знаю, чего я ждал. Может, попадания в волшебный воздушный пузырь. Может, того, что ноги твердого дна коснутся. Может — добрых болотных дельфинов, которые подплывут и помогут. Может, момента, когда будет «восемьдесят девять, девяносто» — и дальше пусть все само решается.

На счете «двадцать», когда желание вдохнуть еще не заматалось по всему телу, но уже вяло передало приветик, вдавленные в веки черные ладошки стали разноцветными. Я досчитал до двадцати пяти, понял, что дальше трусить глупо, тем более что сияние стало уползать вверх, и приоткрыл глаза.

И увидел — без очков, сквозь черную воду и густую мусорную взвесь — кораллы.

Не кораллы, конечно. Это были гроздя болотных огней, схваченные водорослями. Или газовые выделения, расцвеченные солнцем через причудливую водную линзу. Или ежегодный парад гнилостных бактерий. Или что-то еще, не знаю. Не важно.

Важно, что с самого большого кораллового островка, или мшистого выступа, или газового скопища свисала белая рука.

Человеческая.

Детская.

Дилькина.

5

Я не хлебнул воды, не заорал, не замахал руками и даже не выдохнул резко. Я постарался застыть на месте и сообразить, как быстро и аккуратно прекратить погружение, чуть подвсплыть, ухватить Дильку и выбраться на поверхность. Ну и вдохнуть, например.

Растопыривание рук, ног и легкое покачивание ими ничего не дало — я продолжал медленное падение в черно-бурую бездну, заменявшую болоту дно. Может, чуть медленнее. Но белая рука осталась сильно выше моей головы.

Я вцепился в переливчатую стенку перед собой. Пальцы с треском порвали стенку, оставив неровные черные дыры, которые поползли вниз, как выплеснутый на стенку гудрон. Вместе со мной, понятно.

Тридцать четыре, щелкнуло в голове. Тридцать пять.

Я падал в топь заторможенной, но бесповоротной кометой, с растущим отчаянием понимая, что трусость моя все погубила. Если бы погружался с открытыми глазами, вовремя заметил бы Дильку, подхватил ее и рванул вверх. На то бабка и рассчитывала. А теперь сам себя перехитрил. Хитрый до смерти.

Хорош паниковать. Сейчас рвану на поверхность, отдышусь и снова нырну, решил я, собрался и сделал два гребка, широких и сильных, вертикальный брасс такой.

Где-то за левым ухом тихонько шевелился ужас ожидания того, что гребки всколыхнут жижу вокруг, не приподняв меня ни на ладошку. Ужас временно смыло: я взлетел так, что белая рука оказалась на уровне моих плеч, правда не вплотную, — видимо, слишком сильно от груди выталкивался. Рука была неловко подвернута, и всю Дильку я рассмотреть не мог. Видел только, что она лежит лицом в самое сияние.

Я потянулся, потянулся еще сильнее и тронул Дилькины пальцы. Они были твердые до скользкости, как свечи с мороза. Совсем неживые.

Сорок семь, ахнуло в голове — и счет сорвался с привязи, ускоряясь и добавляя звонкости.

Щас, еще раз пообещал я мысленно и толкнулся вверх, чтобы там отдышаться и нырнуть уже как следует. Взлетел на полкорпуса и на новом гребке увидел, что Дилька лежит на узкой, как в поезде, полке, которая полыхает дискотечными огнями. И эти огни перегорают один за другим.

Я однажды капнул кипятком на бумажку из факса, оставленную мамой на кухне. Влетело, конечно, хотя чего оставлять-то где ни попадя. Дело не в этом, а в том, что кипяток, оказывается, проедает факсовую бумагу, как кислота. Вернее, полупрозрачная бумажная основа остается невредимой, а вот беленький термослой идет черными кляксами на пол-листа.

Полка под Дилькой словно прожигалась кипящими каплями, которые выбивали один цветной пузырек — и тут же выжирали еще двадцать пузырьков вокруг.

Я по инерции взлетел еще на полметра, тупо наблюдая, как такая дыра разошлась под Дилькиным локтем и вся рука изогнулась еще неправильно. А потом угольная медуза возникла и выстрелила щупальца во все стороны под коленками Дильки. Коленки провалились, Дилькины туловище с головой приподнялись, будто качелька, — и медленно заскользили вниз сквозь дыру, сожравшую четверть полки.

Я уже рвался вниз, задыхаясь и понимая, что ни фи́га не успею.

Что-то успел: сунул правую руку Дильке под мышку и, не обращая внимания на ударивший по лицу мешок веселых пузырьков, слепо подцепил левой рукой под коленку. Руки заостенели от напряжения, движение закрутило меня колесом и вниз головой, густая жижа хлынула сквозь нос и уши прямо в мозг, вокруг с глухими толчками гасли сотни пузырей, а тяжелая скользкая Дилька тащила меня ко дну — или что тут было вместо дна.

В голове слепо взвыл ужас — бросай. Все равно она здесь полдня уже лежит, пять минут ничего не решат, а я выскочу, отдышусь и нырну снова, она даже из виду скрыться не успеет.

Шестьдесят один, ревел за скулами и ключицами, шестьдесят два, шестьдесят три!..

Полочка растворилась. Сияние исчезло.

Не брошу.

Хватит, набросался.

Я поерзал, выравниваясь и разгоняя стылую тяжесть, прижал сестру к себе правой рукой, а левой вцепился в уходящий вверх карниз. Он не порвался и не отломился.

Передохнуть бы, мелькнула идиотская мысль. В горле заекало, будто оно решало, в какую сторону проламываться, внутрь или наружу.

Я изо всей силы, до хруста в плече и носу, толкнулся к бликам.

Колокол в голове превратился в крупнокалиберный пулемет. Но лечу вверх, лечу, шлеп.

Макушка уперлась в мягкую толщу, как в поролоновый мат из нашего спортзала.

Я мат головой не проткну.

Руку вверх, водоросли, не проткнуть, должна быть дыра, вперед! В сторону, еще, темно как, подыхаю. Влево, наверное. Еще! Все, сейчас вдохну. Должна быть дыра!

Пальцы путались в плотном мочале. Водные пробки в носу пролезли до глаз, выдавливая их из орбит. Тело лопалось, Дилька давила на плечо страшно, зверски хотелось скинуть.

Рука ушла в полость, я вцепился пальцами и подтянулся на одной руке, чувствуя, что рот, горло, всю голову смывает вонючая ледяная жижа — смывает, как струя из крана сносит комок грязи, — и льется в грудь и живот.

Все, захлебнулся, понял я с недоумением, перед заляпанными глазами мелькнула блестящая пленка, порвалась — и я выскочил носом на воздух.

Вдохнул его вместе с тонной жирной воды в носу и во рту, захлебнулся, зашелся рвущим кашлем, вдохнул еще, заколотил руками по воде и плавающим водорослям, подхватил соскальзывающую Дильку и наконец пришел в себя. Откашлялся, вцепившись в какую-то корягу, огляделся, перебросил и вытолкал на твердое Дильку, вылез сам.

В пятидесяти метрах от места погружения.

Это я так мощно бегал в болотной глубине, что ли? Или не сам бегал, а на течении незаметно для себя катался. А может, кто-то одежду вместе с палками перенес. И деревья с куском берега заодно.

Разбираться с этой загадкой я не собирался. Было очень холодно, грязно, в глаза и рот лез мелкий сырой мусор. Но главное — Дилька. Пока я тащил ее из топи, думал, что вот вытащу, и сразу все уладится. Не уладилось. Так обычно и бывает.

Под водой казалось, что Дилька белая и светится, словно мраморная статуя, не парковая, а музейная, чистая и спрятанная в толстую прозрачную кожуру. Под водой я об этом не подумал, вернее, решил, что это отсвет от пузырьков — ну и контраст такой. А теперь вот разглядел.

Утопленники, говорят, страшные, распухшие и перекошенные. Дилька стала красивая. Красивее, чем в жизни. Причесанная и строгая, брови сдвинуты, губы и щеки собраны — какой в жизни никогда не бывала.

Она бывала злая, капризная, ревущая, орущая, гоголющая и иногда тихая. И никогда — строгая. Никогда — белая. Дилька не толстая совсем, но такая крепкая и йогуртная, что ли: то загорелая, то красная, то румяная. Йогурт же с разными добавками бывает.

А сейчас Дилька была не как йогурт и даже не как простокваша, а как молочная ледышка, просвеченная насквозь.

Дийя, ты как... моговэное, пропел в голове Лехин голос, и я чуть не пробил себе висок кулаком.

Потом осторожно погладил лицо сестры. Вернее, красивую маску сестры. И сухо всхлипнул.

Дилька была твердой и не дышала. И выглядела так, точно вообще никогда не дышала. Не как мертвая выглядела, а как статуя.

С умершей я бы попробовал что-то сделать — ну не знаю, искусственное дыхание, массаж сердца, ноги бы ей поподнимал, как в «Ну, погоди!», чтобы вода изо рта хлынула. Но у статуи ни искусственного, ни какого-то еще дыхания быть не может. И не могла из Дильки политься никакая вода — у нее челюсти были сцеплены, губы сурово сжаты, а носик будто воском замазан. Даже на коже вода не держалась — я до сих пор был весь мокрый и в обрывках тины, а на Дильке сырой осталась только одежда. Да на лбу и щеке играли искрами несколько крупных и почему-то чистых капель, как на белом зимнем яблоке в восковой коже.

В восковой.

Яблоко так зимой от холода и сырости охраняют.

Вот я баран.

Я вскочил, едва не свалившись обратно в топь, сбегал за одеждой, как мог закутал Дильку, подхватил ее на руки и потащил к избе.

По уму, надо было все хорошенько спланировать. Надо было идти размеренным шагом и останавливаться для передыху. Надо было одеться или хотя бы нормально укутать сестру — и держать ее так, чтобы не заслоняла дорогу, не вываливалась из рук и не перевешивала в ту или другую сторону. А я вообще не соображал, что делаю, бежал изо всех сил, оскальзывался на валежнике и мокром дерне, глох от собственного дыхания и вроде захлебывался легкими и ошметками горла, ветки стегали, сучья драли кожу и волосы, сшибая шапку, которую я успел нахлобучить. Коченелая Дилька выскальзывала глыбой льда. В голове стучало: быстрее, быстрее.

По лесу тяжело бегать даже налегке. Это пересказывается быстро, а я все ноги стоптал, до утрамбованного мяса.

Главное — дотащить до избы, а дальше все уладится, подумал я и чуть не встал как лбом об столб. Это ведь уже было, вот только что — и оказалось неправдой. Но рыдать и стучать кулачками по земле немножко поздно. Ворота. Я, засипев, перехватил Дильку поудобнее и ввалился во двор, чуть не падая.

Вот, дотащил. Пусть все уладится.

Надо в дом занести.

Дверь в дом была закрыта. Это я ее так мощно захлопнул, что ли? Гадство.

Сейчас, подумал я, соображая, куда положить сестру, — с нею на руках я дверь точно победить не сумею. Выронить еще не хватало.

На землю класть не буду, хватит.

Я неуклюже развернулся, оглядываясь. Баня качала открытой дверью.

А ветра-то нет.

Зачем я это замечаю, с ненавистью подумал я.

Затем, что лужи воска были в бане.

И затем, что сейчас из трубы над баней дымок струится.

Растопил ее кто-то.

Рас-то-пил.

Тут бы мне Дильку и положить, по уму-то: понятно же, что бабка прибежала и растопкой занялась, а людям, запихвающим мою сестру в болото, я доверять еще не научился. Решит и меня куда-нибудь пристроить — в могилу или на верхушку дерева. А я там уже был. Тогда, допустим, к медведю в берлогу запихнуть решит. А я уставший, и руки заняты, так что и возразить не сумею.

С этими совершенно своевременными мыслями я протопал из последних сил к бане, стукнулся головой о косяк, но Дильку занес осторожно — и уложил на скамью. А сам плюхнулся на пол — и, пожалуйста, тащите меня к медведю или печку мной топите.

А Дилька пусть так останется.



Ну хватит, хватит, хватит! — сказал я себе со слезами, застонал и поднялся.

Баня была натоплена зверски: кожа натягивалась, ресницы завивались кольцом, печь шипела, а труба гудела, как гитара, прислоненная на ночь к стенке купе. Пара свечей, которыми освещалась баня, плавилась снизу чуть ли не быстрее, чем сверху. Полок был застлан каким-то войлоком, здоровенная стопка такого же войлока и одежды, кажется детской, грелась на полу рядом с несколькими деревянными бадейками и ковшиками. Я столько даже в музее народных искусств не видел. И не было ни в бане, ни в предбаннике ни бабки, ни ее следов.

Другие следы были — невидные нормальным взглядом, мелкие и неправильные. Нечистые, хоть очень чистенькие. Они уходили в угол, где под пыльными вениками стояла совсем старая бадейка, заваленная ветками и тряпками. Луч из-за двери бросил искру на уголок шоколадной фольги, сунутый под тряпки.

— Это ты раскочегарил, обжора? — попытался спросить я, забыв про потерю голоса.

Начал придумывать жесты, махнул рукой, снял футболку, опомнился, подошел к бадейке и осторожно отвернул ее блеском к стенке.

На самом деле, конечно, я не знал, что делать. И не верил, что получится.

Не верил, когда неловко раздевал Дильку и затаскивал ее на войлок. Я просто ждал.

Не верил, когда воск потек и начал впитываться в подстилку и беззвучно капать в тазики. Я просто менял подстилки и тазики.

Не верил, когда прозрачная корка с лица сестры разом отвалилась цельной маской, Дилька страшно распахнула рот — и оттуда вывалилась, тут же тая, причудливая пирамидка. Я просто смотрел.

Я ни во что особенное не верил, даже когда Дилька задергалась, отталкиваясь от липкого войлока, с гром-

ким сипением вздохнула раз-другой и зашлась в кашле, багровея и некрасиво распухая.

Я просто сел на пол и заплакал, стараясь, чтобы слезы не заслонили мне сестру. И чтобы сестра не увидела меня в слезах.

## 6

Я обманул Дильку.

Она никак не могла понять, почему ей так плохо, почему она голая и почему вместо бабки рядом с ней парюсь я. Потом перепугалась моего молчания и разбитого лица, попыталась удрать или добить меня ковшиком — и чуть не ухнула в печку. Потом сползла на пол спиной к двери, которую не смогла открыть, и начала плакать, не отрывая от меня глаз. И плакала, плакала. Плакала.

Сперва от страха. Потом, когда вроде поверила моему шипению и взмахам, — от усталости. Потом — оттого, что одеться сама не может. Потом — оттого, что очков нет, живот болит, я ее слишком трясу при переноске, полати жесткие, очки кривые, а вода противная. Только после того как я перенес Дильку на толстенную мягкую печную лежанку, повязал платочек, поправил одеяло, три раза принес новую воду, пообещал, что котик скоро придет, изобразил в лицах песенку «Арам-зам-зам» и чуть не сломал шею, кивая в ответ на «Обещай, что никуда не уйдешь», — вот только после этого сестра успокоилась. И почти сразу вырубилась.

То есть она, конечно, еще раза три приоткрывала глаза, улыбалась и блаженно засыпала снова, убедившись, что я, как зайчик, сижу под печкой. Я ж не дурак совсем — немедленно убегать. Вернее, я дурак совсем, но надо сил набраться.

Когда Дилька задышала ровно и повернулась спиной, я понял, что сил не наберусь, а время уходит.